

Г.С.Померанц

"ДВОЙНЫЕ МЫСЛИ" У ДОСТОЕВСКОГО

Одним из толчков к этой работе послужили три разговора с М.М.Бахтиным; она посвящается памяти М.М.Бахтина, оставшегося для меня примером свободы от полемических страстей. Возможно, дополнительным толчком было пожелание проф.М.Альтмана затронуть тему двойничества у Достоевского. Тогда тема была от меня далека, но потом жизнь повернулась так, что она приблизилась.

Мне пришлось три раза побеседовать с М.М.Бахтиным. Особенно в течение двух последних бесед у меня осталось впечатление силы, ушедшей внутрь и спокойно пребывающей внутри, отказываясь откликаться на суету. Он охотно откликается на то лишь, что позволяет не выходить из глубины. Откликнулся он на "Эвклидовский разум", на статью о празднике: отклик был совершенно бескорыстный, без всяких попыток защищать напечатанного Бахтина. Напротив, живой Бахтин охотно поддерживал сдвиг в сторону большего акцента на духовном. Никакой задетости я не чувствовал. Напротив, ... "Так души смотрят с высоты..." Чувствовалось, что из внутренней тишины он видел возможность нескольких новых интеллектуальных конструкций /кроме написанных/ и мог бы сам их создать, но возраст располагал к созерцанию.

В то же время он не захотел говорить об эссе полемического характера, пому - не стал объяснять, хотя я спросил и готов был слушать. Обдумывая потом, я понял это как принципиальное уклонение от полемики, полемического тона. Так я получил толчок заново взглянуть на всю проблему полемики. Косвенных результатов два: первый - заново определить свои исторические эссе, второй - подступ к пониманию полемики у Достоевского - эссе "Неуловимый образ" /1972/. Наши встречи перебила моя бо-

лезнь, но примерно за год до смерти М.М.Бахтина один из моих друзей сказал мне: "Я спросил одного из самых благородных русских умов, может ли добро победить, и он ответил: — конечно, нет". Я сразу угадал Бахтина и захотел поговорить, как он понимает свою парадоксальную идею. К сожалению, болезнь Михаила Михайловича заставляла откладывать встречу, а потом она стала и вовсе невозможной. Попытаюсь теперь защитить нашу общую мысль.

Я думаю, что М.М.Бахтин имел в виду не квиетизм, а экологический подход к борьбе за добро. С фольклорной точки зрения есть абсолютно злые ~~живи~~ существа, например, волки. Добрый волк придуман Шедриным именно потому, что так не бывает. Поэтому уничтожение волка — доброе дело, победа добра. Но экология показала, что это не совсем так, что если волков слишком много, то действительно плохо. Но если волков совсем перебить, то оказывается тоже плохо. Волки — санитары леса, они загрызают больных оленей и таким образом спасают оленей от эпидемий.

Таким образом, с экологической точки зрения возможно только относительное зло; так же как с точки зрения психологии Достоевского нет абсолютно злых людей, не существует в природе ничего безусловно злого, а следовательно — ничего нельзя ликвидировать как вид, уничтожить. Следовательно, возможны только относительные успехи добра, а совершенная победа добра в пространстве и времени немыслима.

Недавно я нашел любопытное подтверждение этого взгляда с богословской точки зрения. Слово "побеждать" встречается в Евангелии от Луки один раз, в послании римлянам — два раза, в I послании Иоанна — шесть раз /Богословская энциклопедия, 1900, т. I, с. 913/. Таким образом, в речи Иисуса слово "побеждать"

почти не встречается.

Два объяснения: I/ученики не поняли, что идея победы добра /в пространстве и времени/ чужда была Иисусу. Это отчасти верно, особенно для позднего средневековья. Но почему слово "побеждать" больше всего встречается у Иоанна? А именно, в Апокалипсисе? Но в Апокалипсисе, т.е. в особом контексте, в связи с идеей, поразившей Достоевского /и, вероятно, не его одного/, времени больше не будет. А раз времени, то и пространства, и предметов, отображающих друга тень.

В пространстве и времени экологический подход ко злу совпадает с концепцией блаженного Августина. Зло не имеет самостоятельной сущности. Все единичное, противопоставленное целому, становится злом /рак/. Задача — ограничить чрезмерное размножение клеток, волков, комаров. Так и с опасными мыслями. Некоторые мысли действительно опасны, но их не следует выкорчевывать, вырывать с корнем.

Все это предисловие к исследованию полемики Достоевского. Публицист стремится ликвидировать, убить идею, художник и мыслитель стремятся поставить ее на место. Из целого мира идей нельзя выбросить "все позволено", из романа невозможно вычеркнуть и Смердякова, и смердяковщину /чего отвратительнее/. В великом целом и отвратительное может служить прекрасному.

Но совершенной свободы от беса полемики у Достоевского не было. Мудрость художника и мыслителя все время сталкивается в нем с яростью полемиста, для которого относительное зло становится злом абсолютным. А это не только интеллектуальная ошибка, но и нравственный порок. Грех здесь идет рука об руку с

затруднением, ибо остервенение в борьбе за добро /относительное добро/ со злом главный /по-моему/ источник возрождения зла.

Я сам полемист и не могу отвлечься от личного опыта, исследуя психологию полемики Достоевского. Для меня очевидно, что всякая полемика не обходится без "двойных мыслей", — как выразился Достоевский в XI главе 2 части романа "Идиот". Разумеется, "двойные мысли" возможны без полемики, но полемика без "двойных мыслей" невозможна.

Позвольте напомнить вам место, на котором основан весь сегодняшний доклад.

Келлер врывается к Мышкину с желанием исповедываться, но все время сбивается в исповеди на хвастовство, как он ловко плутовал и воровал. Временами выходит даже очень смешно, и оба смеются. "Не отчаивайтесь, — говорит в заключение князь, — по крайней мере мне кажется, что к тому, что вы рассказали, теперь больше ведь ничего прибавить нельзя, ведь так?" Но, оказывается, что совсем не так, что у Келлера на уме еще что-то. "Может быть денег занять хотели?" — спрашивает Мышкин. Келлер "пронзен" и признается: "В тот самый момент, как я засыпал, искренно полный внутренних и, так сказать, внешних слез /потому что, наконец я рыдал, я это помню/, пришла мне одна адская мысль — "А что, не занять ль у него в конце концов, после исповеди-то, денег?"... Не низко это, по-вашему?"

Мышкин отвечает, что ничуть не низко, а совершенно естественно. "Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается. Со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо, и знаете, Келлер, я в этом больше всего укоряю себя. Вы мне точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать, что и все люди так, так что я начал было и одобрять себя, по-

тому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться: я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью. Теперь и я начну этих мыслей бояться". /ч.2,гл.П, с.256-259/.

Что же такое "двойная мысль"? Прежде всего, не надо смешивать ее с задней мыслью. Задние мысли бывают у любого плута, у любого лицемера. Это его действительные мысли, прикрытые маской "передних" мыслей. Иногда - внешней маской /у испанских плутов /нрав.достоинство/ искренних перед самими собой/. Иногда - и внутренней /у Василия Курагина, у П.П.Лужина/. Толстой срывает маску с В.Курагина, Достоевский - с Лужина. Но у Раскольникова нет маски, он обращается к городовому и просит его побережь пьяную девушку, а потом - не стоит, мол, все равно... Городовой удивлен, он не привык к двойным мыслям; двойные мысли требуют известной беглости мысли, вообще, известной интеллигентности, это не народная, а интеллигентная болезнь. Но она не может быть совершенно открыта.

Задняя мысль отсылает нас к миру плутов, Тартюфов, к миру комедии. Двойная мысль скорее трагична.

Можно сказать, что Гамлета мучают двойные мысли. У Келлера, у Лебедева задние мысли могут быть одновременно двойными; но у них вообще трагическое и комическое перемешано. В анализе эти понятия можно отделить друг от друга.

Хочется подчеркнуть, что двойная мысль в отличие от обычной задней мысли у Келлера совершенно искренна, искренна в обеих своих ^кполовинах. Именно это трагично, потому что сознание собственной расколотости трагично.

Если продумать теорию двойных мыслей, дополняя исповедь Келлера данными других романов, - идеал Мадонны и идеал содомский

постоянно присутствуют в человеческой душе. Они автономны. Низшее не сводится к высшему /как в концепции страстей Фурье/ и высшее не сводится к низшему /как в психоанализе Фрейда/. Ведущей может быть благородная мысль; но корыстный расчет подсаживается, как лакей на запятки и старается извлечь из сложившихся обстоятельств какую-то выгоду ~~Жизнь и смерть~~ /Келлер, исповедавшись Мышкину, просит у него 25 рублей/. Ведущим может быть грубый чувственный помысел, но страсть, охватившая Митеньку, будит в нем нежность, и в Мокром он уже ничего не добивается от Грушеньки, он готов бескорыстно радоваться ее счастью с "прежним, бесспорным".

Истоки концепции двойных мыслей могут быть прослежены вплоть до посланий апостолов, в противопоставлении внутреннего и внешнего, духовного и плотского человека /Римл., 7, 14-24/.

Вот, что об этом пишет ап.Павел в послании к Римлянам: "Мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху... Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю... Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу делаю... Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от сего тела смерти?" /Римл., 7, 14-24/.

Ум здесь — синоним внутреннего человека, а плоть — синоним внешнего. У Павла есть выражение "умный по плоти", т.е. интеллект тоже может быть плотским.

В печати уже говорилось /Р.Гальцевой и И.Роднянской в разборе книги Бурсова "Новый мир", 1972. № 3/, что двойничество героев Достоевского по большей части означает именно спор внеш-

него и внутреннего человека. Иногда ситуацию романа можно прямо свести к посланиям ап. Павла. Митенька развоен по Посланию к римлянам: он не сомневается в законе, или другими словами — идеале Мадонны /т.е. в христианской, личностной форме нравственного закона; Павел еще говорит языком древнего еврея/. Но следует Митенька, по низости своей натуры, покоряясь "сему телу смерти", идеалу содомскому. Иногда ситуация вывернута наизнанку: эвклидовский разум создает содомский антизакон, а внутренний голос выступает как чувство, как "натура" /Раскольников, Иван/. Это также по Павлу, только по другому посланию, к коринфянам: "ибо мудрость мира сего есть безумие перед Господом" /I кор., 3, 19/.

Концепция ап. Павла нашла своеобразное развитие в аскетической литературе. Большинство старцев решительно отвергало "помыслы" /примерно соответствующие "двойным мыслям"/. Некоторые, напротив, разрешали опытному подвижнику "принять помысел, чтобы побороться с ним", — примерно, как парусник, лавируя под встречным ветром, движется к своей цели. Помысел, страсть выводит из неподвижности. Помысел толкает вниз — и человек, ужаснувшись, рвется вверх. На каком-то уровне двойственность снимается, борьба приходит к концу; но пока человек еще не достиг этой высшей ступени, пока он близок к инерции, к духовной лени, — страсть может дать ему необходимый толчок. Оба толкования могут быть оправданы некоторыми евангельскими примерами.

С одной стороны, Иисус, разговаривая с ближайшими, с избранными, учит их отсекаать двойные мысли с порога. Апостолам он велит отвергнуть даже мысль о дневном пропитании, не брать с собой в дорогу ни хлеба, ни серебра. Так же отвергает он просьбу матери сыновей Зеведеевых о какой-то особой награде ее сыновьям в

царствии небесном. На небе, объясняет он ей, души стремятся быть последними, а не первыми, и служить, а не принимать поклонение.

Однако, в разговоре с народом Иисус ведет себя иначе. Он вводит в молитву "Отче наш" просьбу о хлебе насущном, — принимая это земное попечение как стимул обратиться к небу. Он исцеляет и дает апостолам силу исцелять, — т.е. удовлетворять очень насущную земную потребность. Наконец, он широко использует страх /загробных мук/ как стимул избегать зла в этом мире. Так это на первых порах для людей несовершенных, и Евангелие идет путем развития этих страстей против других.

Психотехника страстей как пути к бесстрастию была многообразно разработана в Индии, в тантризме в Кундалини-Йога. Но я не буду в это углубляться. Психология перекликалась здесь с онтологией.

Достоевский, ~~вступая~~ вступая в духовное поле складывающегося романа, принимает не только помыслы героев, но и свой собственный, полемический помысел. Полемика — одна из величайших страстей духовной жизни. Она осталась не причисленной к грехам, вероятно, потому, что война с другими вероисповеданиями, направлениями, сектами не считалась в средние века за грех. Например, один из святителей вырвал клоч бороды у Ария, это не помешало канонизации святого. Однако, искушений в полемике не меньше, чем в чувственной любви. Человек начинает борьбу во имя истины. Но желание уязвить противника охватывает с такой силой, что почти невозможно удержаться от передержек. Цель христианского полемиста — добро и любовь, но они не рождаются из ненависти и ожесточения схватки; победа истины невозможна без победы полемиста над самим собой.

Размышления над полемикой Достоевского заставили меня написать в эссе "Неуловимый образ", что дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело, что все плотское — и люди, и системы падают в прах, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело — и сей герой, окруженный ореолом подвига и жертвы — есть князь мира сего.

Издержки полемики Достоевского очевидны. Он спорит с пеной на губах, с желанием уничтожить противника /Белинского, Жорж Занд — в Дневнике 1873 г./, ударить нигилистов и западников "окончательной плетью". Некоторые характеры превращаются в карикатуры. Но без полемической страсти /как постоянной внутренней пружины/ роман Достоевского так же немыслим, как без затиханий, без образов кротости, без порывов все понять, все охватить любовью. Поле романа создается напряжением между идеалом Мадонны /прославление кротости/ и идеалом содомским /желанием убить антикротость/.

Убийство идеи так же чревато неожиданностями, как убийство старушки. И здесь рассчитан удар по Алене Ивановне, а под руку прпадает Лизавета. Ибо каждая опасная мысль тысячью ассоциаций связана со своими кроткими сестрами. Например, мысли Фейербаха об отношении Я и Ты... И потому опасные мысли заслуживают экологического подхода не меньше, чем опасные звери /ликвидация которых оказалась гибельной для всей фауны/. Идея, попавшая под "окончательную плетью", — преступление полемиста. И потому каждый роман Ф.М. Достоевского есть его собственное преступление и покаяние, есть опыт отступничества, забвения собственной мысли о силе смирения — и тоска по кротости и внутренней тишине, разгул двойных мыслей — и спасение от бесов /с которыми

помыслы, двойные мысли могут быть сопоставлены/. Через этот внутренний опыт Достоевского братается с движением двойных мыслей в своих героях, достигая того интимного родства с психологией преступления, которое поражало читателей и вызвало к жизни легенды о Достоевском-убийце, Достоевском-растлителе и т.п. За легендами стоит реальность Достоевского-полемиста.

Каковы бы ни были страсти юноши Достоевского, в 50-60 лет именно полемика была его

Историческим предшественником потока двойных мыслей был образ двойника. Тем двоника, выплывшая на поверхность в романтической литературе начала XIX века, видимо, еще с юности овладела Достоевским. После успеха "Бедных людей", пытаясь оправдать ожидания Белинского, он пишет свою повесть про господина Голядкина. Замысел и впоследствии казался Достоевскому великим; после ссылки он заново редактирует "Двойника", пытается спасти его от забвения. Однако публика дважды осталась равнодушной. Двойная неудача, быть может, было необходимым толчком к открытию новой формы многообразия личности. Двойник - литературная гипербола, фиксирующая первый миг удивления: вместо одного Голядкина - двое. Попытка остановиться на этом миге, разработать романтическую гиперболу с реалистической достоверностью лишает ее поэтичности, обнажает условность, искусственность образа. На самом деле нет двух Голядкиных, есть один, но его единство - поток, процесс; в этом потоке течения борются с противоречиями, воздушные ямы сбрасывают вниз, а токи с земли подбрасывают вверх. Нет двойника, есть двойные мысли.

Закономерность, вызвавшая переход от "Бедных людей" к "Двойнику", легко может быть сформулирована /слишком легко/. Она

обнажается при сравнении истории русской литературы с историей западно-европейских литератур. Переводчик "Евгении Гранде" был знаком и с "Бедными людьми". Он понимал, что Макар Дежушкин — герой добальзаковского романа, что следующим шагом за открытием человечности маленького человека было открытие зла, таящегося в его душе. Однако в России 40-х годов моральная двойственность разночинца еще не раскрылась в самой жизни. Тема, увлекавшая Достоевского, была скорее предугадана, чем узнана, и развита больше умом, чем сердцем. "Двойнику" не хватает сердечной выношенности "Бедных людей", неожиданностей их развития. Движение сюжета не рождается из духовного движения. Это головная конструкция, сбивающаяся в чисто формальный эксперимент.

Оба Голядкина, робкий и наглый, одинаково плоски. Их взлеты и провалы — социальные успехи и провалы, безразличные для внутреннего человека. Достоевский уходит здесь в сторону от задачи, которую нес в себе с первых шагов в литературе, — разворачивать действие не только по социальной горизонтали, но и по духовной вертикали, описывать социальные конфликты, не замыкаясь на них и используя как толчок, освобождающий скрытые духовные силы. С этой точки зрения "Двойник" был шагом назад $\frac{1}{2}$ не вперед/ сравнительно с "Бедными людьми". Макар Дежушкин потряс публику своим духовным ростом, превращением ветоши, половой тряпки в страдающего и любящего человека. Голядкин в конце повести так же мало завоевывает симпатию, как и в начале.

Раннему Достоевскому совершенно не давалось то, чем он впоследствии прославился: изображение дьявольского в человеке, пафос зла. Зло либо действует за сценой, как господин Быков, либо лишено размаха, мелко, пошло. Не хватает глубины падения,

ада. И от этого добро также лишено подлинной силы. Оно не прошло через огненное горнило, не закалилось в нем. Варенька не могла бы покорить сердце Раскольникова, как Соня. "Бедные люди", "Белые ночи" скорее мечта о добре, о любви, скорее сон, чем действительность.

Горизонталь обыденных забот, отношений, связей в раннем творчестве не взламывается практически /как Раскольников идет убивать старушку, а Соня идет за Раскольниковым в Сибирь/. Мечтательный герой "Белых ночей" или Девушкин, сочиняя свои письма, скорее забывают о тяжести земли, чем преодолевают ее. Это взлеты во сне, "золотые мечты" — скажет впоследствии подпольный человек. Чувство действительного полета возникает только в "Записках" из подполья", а начинается оно с падения. Подпольное сознание разрушает все респектабельные формы человеческого бытия. Оно не противопоставляет одному застывшему образу другой, как двойник, а ставит любые социальные роли на один уровень и перечеркивает их все, издеваясь над различиями между робким и наглым, честным и шулером. Строго говоря, это не двойное сознание, потому что нет единиц. Прекрасное и высокое поднято насмех. Эгоистическое, низменное в каждую минуту получает самую полную свободу.

Явно двойное появляется тогда, когда человек, падающий в бездну, взглянул на Содом глазами Мадонны. Взглянул на мысли, в которых он запутался, глазами Мышкина, нечаянно полюбившегося ему. Двойные мысли это сознание любви, столкнувшейся с вашим совершенством. Любви, которая заставляет всякую ситуацию рассматривать с двух точек зрения: во-первых, по горизонтали, в плоскости дела или конфликта, затянувшего вас; во-вторых, по

вертикали, и глазами любимого, сверху вниз. С первой точки зрения вы можете быть совершенно правы. Со второй — вы всегда виноваты, потому что вы хуже, чем любимый хотел бы вас видеть. Это не головная конструкция, а реальность чувства, и чем более сильного, захватывающего, тем более очевидного. Влюбленный всегда виноват и всегда боится оскорбить своим неблагообразием. Я думаю, что примерно это подвижники называют страхом Божиим. Страхом, возникающим из любви, а не из корыстного опасения за свою шкуру.

Пока образ Мышкина не отразился в душе Келлера, мысль выпросить 25 рублей была самой обыкновенной задней мыслью. Но когда Келлера охватил искренний порыв исповедоваться, обиденная задняя мысль стала двойной мыслью. Это подобно вторжению иконы в живопись передвижников — например, в жанровую картину Маковского. Как это вышло бы в живописи — не знаю. Но у Достоевского как-то выходит.

Во всех романах, написанных после "Записок из подполья", поток подпольных мыслей сталкивается со взглядом Сони или Мышкина и становится потоком двойных мыслей. Движение перестает быть однозначным и направленным вниз. Подпольный человек со дна, из ямы своих бесплодных сорока лет вспоминает, как он падал. Героям романа, как правило, нет и тридцати. Они падают, а то поднимаются. Столкновение с будничной прозой Содомы /влекущего издали/ толкает к идеалу Мадонны с такой силой, которая была бы немыслима без встречи со своим Свидригайловым, своим Смердяковым, своим чертом. Душа, открывшая в себе ад двойных мыслей, пытается вырваться из этого ада.

Решающую роль в духовном повороте героя играет узнавание

скрытого подобия, скрытого братства /или побратимства/ с существами других уровней. Свидригайлов и Соня обнажают Раскольникову двойственность его собственной души /Ивану — Смердяков и Алеша/. Свидригайлов совсем не двойник Раскольникова, и Смердяков — не двойник Ивана. Это особые лица, со своей неповторимой судьбой. Даже черт в бреду Ивана — особое лицо, внешне никак не напоминающее Ивана. То, что ошеломляет — не различие внешне сходных, тождественных /два Голядкина/, а молния тождества, соединяющая существа, во всех отношениях разные, братством греха и гибели /Раскольников-Свидригайлов/, братством надежды на спасение /Раскольников-Соня/. Тайный двойник или тайный побратим как бы прорисовывают внешним очертанием внутреннюю духовную возможность, внутреннее течение, еще не застывшее, еще не наложившее на человека неизгладимый отпечаток. Герой вдруг видит реальность греха так, как можно увидеть реальность огня, охватившего дом, и прыгнуть в окно. Однако он не сразу выпрыгивает из греха; разум, не признающий реальность греха, удерживает его, борется с призраками "больного сознания". И тут начинается мучительство, за которое Михайловский назвал Достоевского "жестоким талантом".

Достоевский действительно жесток, — примерно как библейский Бог к избранному народу. Когда "боги были человечнее", а люди "божественнее" /Шиллер/, чувство греха едва теплилось...

Чувство греха у Достоевского уходит своими корнями в библейский страх мерзости перед Господом. Для него Бог и грех нераздельны. В бездне Бога открывается взгляд на бездну греха. А в бездне греха рождается тоска по Богу.

Для Достоевского только Бог может уравновесить грех. Грех —

то, с чем не может справиться наша "плоть", наша "природа", то, что низко и сильнее нас. То, что унижает нас в нашем гуманизме, в чувстве своей самодостаточности, заставляет презреть себя и, тоскуя, искать дверь в глубину, к какой-то другой естественности, перерожденной — к новому Адаму — Достоевский обращается к тем, в ком идет процесс развития нового Адама, и ощущение тяжести плода и мучительно и сладко, остальным его можно и не читать.

Первое движение каждого — скрыть свой грех. Чтобы он затерялся, стерся, как старая вещь, среди других вещей. Но внутренний голос подсказывает, что углубление в память о грехе, или сосредоточенное внимание к двойным мыслям — это путь, который прокладывает себе новый Адам, и потому грех должен быть обнажен и омыт покаянием. Раскольников, покайся Соня, кается сначала внешне, на Сенной площади. Выходит дико, нелепо. Но "кто хочет быть мудрым в мире сем, тот будь безумным". Внешнее должно стать внутренним, и тогда нелепое станет лучшим, прекрасным.

В модели мира Достоевского, каждый из нас — Раскольников. У каждого из нас есть свои грехи, о которых хочется забыть. Но не каждый встретит свою Соню.

В творчестве Достоевского Соня — воплощение любви к Христу больше, чем к истине /вернее, даже без вопроса об истине/. Спознавание явного, очевидного греха не дает ей ни минуты душевной праздности. А образ Христа в ее душе — как переносной складень, который она каждую свободную минуту как бы мысленно раскрывает и чистит себя под этим солнцем. На уровне спора Соня не виновата, ее толкнула на панель Катерина Ивановна. Катерину Ивановну — нищета. Но перед бесконечно любимым она бесконечно виновата. На

уровне любви она сама должна очиститься, и верит, что любимый ее очистит и простит. Поэтому она не ожесточается и не топит свое отчаяние в вине, как Катюша Маслова, а вся уходит в молитву, подобную мольбе влюбленного. И она права, когда говорит Раскольникову, что Бог ей все дает. Ее молитва так сильна, что грех — внешний, не захвативший глубину души, — тут же смывается, и она снова чиста, как в самых неправдоподобных средневековых легендах. И силой своего смирения она покоряет Раскольникова.

Соня — народный тип праведницы, не отягощенный "двойными мыслями", у нее просто нет способности смотреть на мир сразу с нескольких точек зрения, ~~рефлекторов~~ рефлекторов. Она берет буквально все, написанное в Евангелии, и без рассуждений обращается к духу, который живет в этой книге, в иконе, в обряде. Ей не приходится жертвовать своим интеллектом /как говорил Вебер/, чтобы всем сердцем принять свет как свет и тьму как тьму и каждую свободную минуту тянуться из тьмы к свету. Брак ее с Раскольниковым — своего рода решение спора религии с гуманизмом на основе безоговорочной капитуляции гуманизма, пришедшего к краху. Я не думаю, что такое простое решение обязательно. Мне кажется, что в князе Мышкине Достоевский наметил другой выход, другой тип очищения через созерцание иконной красоты бытия, мимо всякой догмы, иконы, обряда. Тут нет альтернативы, нет обязательного выбора. По-моему, все равно, смотреть на икону Рублева, писавшего красками зари, или на саму зарю. Я просто отмечаю, что про Мышкина нигде не сказано: он молился или даже просто зашел в церковь. Сказано другое, что он часами смотрел на водопад в горах и так лечился. Сказано, что он выздоровел

уровне любви она сама должна очиститься, и верит, что любимый ее очистит и простит. Поэтому она не ожесточается и не топит свое отчаяние в вине, как Катюша Маслова, а вся уходит в молитву, подобную мольбе влюбленного. И она права, когда говорит Раскольникову, что Бог ей все дает. Ее молитва так сильна, что грех — внешний, не захвативший глубину души, — тут же смывается, и она снова чиста, как в самых неправдоподобных средневековых легендах. И силой своего смирения она покоряет Раскольникова.

Соня — народный тип праведницы, не отягощенный "двойными мыслями", у нее просто нет способности смотреть на мир сразу с нескольких точек зрения, ~~разных~~ рефлекторов. Она берет буквально все, написанное в Евангелии, и без рассуждений обращается к духу, который живет в этой книге, в иконе, в обряде. Ей не приходится жертвовать своим интеллектом /как говорил Вебер/, чтобы всем сердцем принять свет как свет и тьму как тьму и каждую свободную минуту тянуться из тьмы к свету. Брак ее с Раскольниковым — своего рода решение спора религии с гуманизмом на основе безоговорочной капитуляции гуманизма, пришедшего к краху. Я не думаю, что такое простое решение обязательно. Мне кажется, что в князе Мышкине Достоевский наметил другой выход, другой тип очищения через созерцание иконной красоты бытия, мимо всякой догмы, иконы, обряда. Тут нет альтернативы, нет обязательного выбора. По-моему, все равно, смотреть на икону Рублева, писавшего красками зари, или на саму зарю. Я просто отмечаю, что про Мышкина нигде не сказано: он молился или даже просто зашел в церковь. Сказано другое, что он часами смотрел на водопад в горах и так лечился. Сказано, что он выздоровел

в Швейцарии, где православных церквей не было, а с протестантским пастором он был, как помните, в споре. Передаются слова Мышкина: разве можно видеть дерево и не быть счастливым?

Созерцание иконной красоты бытия, если оно достаточно глубоко, создает в душе озеро света, волна которого слизывает двойные мысли, как окурки, брошенные на берег. Эту метафору я взял у Джидду Кришнамурти /который правда, говорит, о море/. Но такие слова просто сказать, а достичь такой силы созерцания необычайно трудно. У князя Мышкина не было внутреннего мира, было озеро, и когда это озеро забросали окурками, он погиб. Но все-таки осталось ему слово: мир красота спасет.

Достоевский-публицист этой идеи до конца не освоил, но художник ее видел; видел возможность естественного смирения духа перед иконной красотой при полной свободе ума. Как хрупкий, ранимый, но все-таки мыслимый человеческий тип.

Достоевский, возможно, думал о синтезе пути Сони и пути Мышкина. Но он этого нигде не показал, по крайней мере в достаточно убедительной форме. Он тверд и настойчив только в одном, в необходимости увидеть реальность ада, ада двойных мыслей. И тогда вы броситесь искать выхода из него, и тогда появится надежда найти выход.

Открытие двойных мыслей невозможно без разрушения гордыни собственного ума. Сознание — замкнутое и самодостаточное в своем эвклидовом разуме, признает за собой способность ошибаться, готово запоминать, учитывать ошибки, не повторять неудачных ходов. Но если нет идеи внутреннего человека /и царствия внутри нас/ — нет и греха, нет действия, закрывающего дорогу внутрь, нет жадности искупления. Ошибки, строго говоря, не требуют искуп-

ления. Опыт мог оказаться неудачным; его не стоит повторять; но искупать здесь нечего. Как только выработан необходимый рефлекс /не трогай свечку — обожжет/, нелепо растравлять воспоминание об ожоге. Нелепо возвращаться в подъезд, где совершено убийство, и еще раз звонить в дверь.

И гуманист Михайловский по-своему прав: с позитивистской точки зрения психология героев Достоевского — бессмысленное мучительство.

Напротив, с точки зрения психологии греха и покаяния, болезненное воспоминание обладает особой ценностью. Боль раскладывает самодостаточность эвклидовского разума. Боль открывает внутреннего человека, стонущего от действий человека внешнего. Братство в свидригайловщине, в смердяковщине, братсов в грехе открывает дорогу к братству в покаянии. Образ содома /черта/, открывшийся в душе Ивана Карамазова, разрушает ее плотскую рациональность, открывает вертикаль, ведущую к образу Мадонны. Чернильница, брошенная в черта — начало веры в Бога. Дело не в единичной ошибке, совершенной преступником /плохим счетчиком/, а в открытии нового измерения бытия, вертикали предельных глубин и высот.

Дорога в рай проходит у Достоевского через ад двойных мыслей. Поэтому двойные мысли знает в себе и Мышкин. Более того, он знает их в себе глубже, постоянное, чем Келлер. Келлер однажды заметил очень явную двойную мысль и устыдился. Ежедневно, ежечасно он их не видит: мешает самодовольство, Достоевский постоянно отмечает в нем самодовольство, гротескно противоречащее низости поведения. Келлер любит изяществом слога /сочинив пасквиль/, изяществом формы, с которой просит милостыню и т.п.

Только истина пробивается сквозь корку самодовольства и заставляет плакать, как евангельского мытаря. Напротив, у Мышкина, совершенно не склонного любоваться собой, есть способность различать двойные мысли в зародыше и от этого постоянная потребность в покаянии. Отсюда чувство вины Мышкина за все, что происходит: не от повышенной виновности в объективном смысле слова, а от совершенной прозрачности своего восприятия вины.

Постоянное наблюдение за потоком двойных мыслей означает постоянное сосредоточение на мыслях первичных, внутренних, ^и без их названия и опошления. Двойные мысли предполагают некоторую первичную глубину, некоторую подлинность, как физическая тень предполагает свет и немислима в совершенной тьме. Царство теней — царство форм, создаваемых светом; в этих формах он обрисовывает себя для глаза, оставаясь единым и нераздельным, вне форм и очертаний. Тени могут быть легкими и прозрачными. Но только очень редко и недолго возможно переживание чистого света. Поэтому двойные мысли — не подлость, как думает Келлер. Келлер цепляется за мнимое благородство внешности, приходит в отчаяние, когда оно исчезло, и сейчас же прячется от отчаяния за новую позу, новый жест, новую внешность. Двойные мысли не должны приводить в отчаяние: тень света есть знак света, плоский знак глубины. Знание двойных мыслей — это самосознание реальной двойственности. Без него нет надежды на выход из двойственности.

Раздвоенность ведущих героев Достоевского очень не проста и не целиком сводится к той формуле, которую ап. Павел дает в гл. 7 послания к Римлянам. Иногда он напоминает другую, чрезвычайно глубокую мысль, высказанную Павлом чуть раньше, в главе 4: "Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и

преступления" /римл., 4.,/.

Павел здесь чрезвычайно близок к мыслям Кришна-Мурти о недопустимости подчинять живое сегодняшнее движение ума какому бы то ни было старому канону, не взятому внутрь, не рожденному сердцем.

По Кришна-Мурти надо просто смотреть на поток мыслей в своем уме, не пытаясь его приукрасить. Коли вы увидите реальность за-висти так, как вы видите реальность кобры, вы броситесь от нее бежать, как от кобры, — говорил этот мыслитель. Но вот вопрос: с какой внутренней точки зрения дается нам взгляд на течение собственных мыслей как на внешнее? Кто способен здесь обойтись без канонических образов истины? Я думаю, что очень немногим и почти никому — до конца. Отсюда бесконечные колебания мыслящих героев Достоевского.

Когда Версиров раскалывает икону, он, может быть, "двоится", не только между гордыней и смирением, но еще между внутренней-шим Христом и его канонизированной иконой, и, может быть, этот внутреннейший Христос, зыбкий, неуловимый, глубже того, который живет как закон в страннике Макаре. Я думаю, что двойничество героев Достоевского не допускает однозначного толкования и толкование самого Достоевского — не окончательное. Я думаю, что в героях Достоевского одновременно могут быть не одна, а две раздвоенности, спутанные друг с другом, и когда герой выходит из раздвоенности, то иногда от силы, от преодоления тьмы /как Раскольников от победы любви/, а иногда скорее от усталости, от готовности пожертвовать чем-то, может быть, и высшим, но больше не выносить душевного разлада; и в Версирове мне чудится скорее сторое. В каждом смилившемся герое Достоевского мож-

но найти и силу смирения и усталость; разница в акцентах.

Таким образом, окончательное решение проблемы Достоевского всегда вытягивается в бесконечность. Но мой доклад совсем пришел к концу.

Наивность представляет себе добро и зло как две крепости или два войска, с развернутыми знаменами и барабанным боем, идущие друг на друга. На самом деле, добро не воет и не побеждает. Оно не наступает на грудь поверженного врага, а ложится на сражающиеся знамена, как свет, — то на одно, то на другое, то на оба. Оно может осветить победу, но не надолго и охотнее держится на стороне побежденных. А все, что воет и побеждает, причастно злу. И чем больше ненавидит зло, тем больше предается ему.

Это верно и относительно абсолютного зла, дьявола. Мне трудно себе представить, что падение Люцифера началось с зависти, скорее — с излишней ревности. Где-то, во времена, о которых ничего не сказано в Книге Бытия, сияющий ангел бросился в бой с инерцией творения, воспротивившейся вечно новой воле Божьей, — из чистой любви к Богу, из чистого порыва служения. Зависть пришла потом. Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в битву за добро, за истину, за справедливость — и так шаг за шагом, до геенны огненной и Колымы.

Все, что из плоти, рассыпается в прах: и люди, и системы. Но дух вечен, и страшен дух ненависти в борьбе за правое дело. Этот герой, окруженный ореолом подвига и жертвы, поистине есть князь мира сего. Он увлекает, он соблазняет малых сих /и даже больше, по человеческому счету/. И благодаря ему зло на земле не имеет конца.

Означает ли это, что не надо бороться за добро? Нет, но одно

дело бороться за добро, другое — ликвидировать зло. Особенно окончательно.

Речь идет просто о концепции Августина, что зло не имеет собственной природы. Зло — отсутствие добра, как тень — отсутствие света. Но свет не может не отбрасывать тень. Это не его вина, это устройство предметного мира. В пространстве и времени что-то всегда будет в тени. Можно передвигать предметы, чтобы в комнату входило больше солнца. Можно срубить дерево, в тени которого оказались цветы. Но добро для цветов будет злом для дерева и для человека, любящего дерева больше, чем цветы. Эта концепция не оправдывает бездействия, она только ставит ей разумные границы, она предостерегает против попытки ликвидировать зло в корне. Примерно то же сейчас говорит экология.

Представим себе абсолютное благо как свет солнца. Свет сам по себе лишён тьмы /зла/. Но все предметы отбрасывают тень. Так уж устроен предметный мир. Тень — условие бытия отдельного, т.е. нас с вами. Если на одной стороне земного шара день, то на другой — ночь. И если одна сторона предмета — горы, сосны, дома — освещена, другая — во тьме. Бороться за добро — значит по возможности поворачивать предметы к свету /или самому выходить из тени на свет/. В редких, исключительных случаях можно срубить дерево, которое заслоняет окно, или снести старое здание и т.п. Но уничтожение предметов, отбрасывающих тень — это крайняя мера, и возможности ее не следует переоценивать. Человек, живущий почему-то за глухой стеной, может рассматривать ее как абсолютное зло и разрушение стены — как торжество добра. На самом деле, новые сооружения, воздвигнутые на месте старого, опять будут отбрасывать тень. Совершенный свет — только там, где нет никаких предметов,

но он, пожалуй, сожжет, если к нему слишком близко подойти. Он уже не добро в нашем обыденном представлении, а нечто более цельное, как белый свет, который можно разложить на отдельные цвета, но который сам по себе не синий, не красный, не зеленый, не добро, не красота, а нечто выходящее за те понятия, которыми оперирует рассудок. С этой точки зрения добро в своей глубине уходит в темный /нестерпимо светлый/ корень всех ценностей, и то, что там — уже не добро, не красота, не истина /платоновское тождество следовало бы переписать негативно/. А то, что определено, ограничено — уже не безусловно хорошо и прекрасно. Сегодня добро /сравнительно с другими/, завтра — меньшее зло, послезавтра — большее зло. Чем полнее победа относительного добра, тем ближе зло. И лучше сто раз упустить победу, чем один раз торжествовать ее так, как на картине Рубенса "Торжество церкви".

Наше поколение пережило несколько попыток окончательной ликвидации зла, и все силы вели к новому злу. Думаю, именно этот опыт времени объединяет меня с Михаилом Михайловичем. В наши дни экология пришла к выводу, что даже волков и комаров не надо ликвидировать. Волк — фольклорный символ зла — оказался санитаром леса.
